



ЭЛИЗАБЕТ ФОН
АРНИМ

ИСКУПЛЕНИЕ

NEOCLASSIC
ПРОЗА

Neoclassic проза

Элизабет фон Арним

Искушение

«Издательство АСТ»

1929

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

фон Арним Э.

Искушение / Э. фон Арним — «Издательство АСТ»,
1929 — (Neoclassic проза)

ISBN 978-5-17-160052-5

После смерти мужа тихая Милли шокирует семью, признаваясь в многолетнем адюльтере, и сбегает для искупления грехов. Ироничная история о лицемерии высшего общества и личном освобождении. В состоятельном и уважаемом семействе Ботт скандал! После смерти одного из братьев выясняется, что его жена Милли, тихая женщина с безукоризненной репутацией, годами изменяла супругу. Родственники покойного готовы пойти на любые ухищрения, чтобы избежать позора и сохранить тайну адюльтера за закрытыми дверями, но у Милли другие планы на будущее. Страдая от внезапно нахлынувшего чувства вины, женщина сбегает из дома и решает посвятить свою дальнейшую жизнь искуплению грехов...

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-160052-5

© фон Арним Э., 1929

© Издательство АСТ, 1929

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	21
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Элизабет фон Арним Искушение

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Глава 1

Милли неподвижно застыла в кресле. Ее круглое бледное лицо не выражало ничего. Взгляд не отрывался от вялых, будто вовсе не принадлежавших ей пухлых рук, которые покоились на обтянутых черным коленях. Так она и сидела, безмолвная, и смотрела на руки, с тех пор как это случилось.

– Приведите ее в чувство, – сказал врач, когда опечаленные родственники Эрнеста обратили его внимание на состояние Милли. Но напрасны были усилия кучки невесток: она оставалась безмолвной, недвижимой и все так же тупо смотрела в одну точку.

– Ей бы поплакать, – говорили друг другу Ботты. – Хорошенько выплакаться – самое милое дело, это всегда помогает.

Но Милли не плакала, ничего не говорила, разве что тихонько шептала своим нежным голоском всякий раз, когда какой-нибудь сочувствующий или соболезнующий родственник гладил ее по плечу или касался склоненной головы:

– Как вы добры...

Да и кто бы не был добр к бедняжке Милли в ее горе? Добры были не только Ботты, но и весь Титфорд. В этом солидном южном предместье Лондона высоко ценили Боттов, процветавших, успешных в финансовых делах и постоянно преумножавших свое богатство. Они служили оплотом местного общества: вносили пожертвования, председательствовали, произносили речи, разрезали ленточки. В Титфорде было множество Боттов, и каждого из них окружали здесь почетом. Когда им случалось вступать в брак, что они проделывали неукоснительно, достигнув надлежащего возраста, или когда у них рождались дети, что исполнялось так же неукоснительно, стоило им жениться (если не считать Эрнеста, который остался бездетным), Титфорд искренне ликовал; когда же они умирали, что происходило с ними лишь по достижении зрелости и никак не раньше (опять же не считая Эрнеста, чья жизнь оборвалась в дорожной катастрофе), Титфорд искренне скорбел и неподдельно сочувствовал выжившему супругу – как правило, вдове, ибо по странному закону природы утлое поначалу суденышко в итоге оказывалось на удивление крепким.

В этом случае сочувствие было особенно живым, поскольку Милли всегда слыла общей любимицей. Давным-давно Титфорд решил, что миссис Ботт обладает манерами истинной леди, и проникся к ней любовью. Почти двадцать пять лет прошло с тех пор, как бедный Эрнест Ботт привез в особняк из красного кирпича на Мандевилл-Парк-роуд свою молодую жену. Тогда она была совсем еще девочкой, маленькой, худенькой, почти ребенком, и выглядела до нелепости юной рядом с мужчиной едва ли не средних лет, но с самого начала держалась, как и надлежало даме ее положения, и никогда не забывала о своем статусе, невзирая на выходку ее сестры в этом самом доме всего три месяца спустя.

Шли годы, без бурь и невзгод, уютные безупречные годы; сестра больше не появлялась, и о ней забыли, разве что в глубине сердца Ботты еще хранили воспоминания (они не так-то просто забывали бесчестье), и все мужчины в этом многочисленном семействе считали, что Эрнесту на редкость повезло с женой. Миссис Ботт уже давно не та худенькая девочка. Прочное благополучие, которое сумел обеспечить ей Эрнест, дало свои плоды. Теперь это была дородная сорокапятилетняя дама, низенькая и рыхлая, как пуховая подушка, белокожая, с кроткими глазами, с ямочками на пухлых руках, где у других обычно выступают костяшки, с гладко зачесанными послушными волосами цвета респектабельности на аккуратной голове. Вся ее жизнь за исключением той единственной скандальной истории с сестрой – а кто в ответе за поступки родственников? – была безукоризненной. Сплетникам нечего было о ней сказать, критика обходила ее стороной. Милли была радостью и гордостью семьи и всего Титфорда; без причуд, с хорошими манерами, она не отличалась излишней разговорчивостью, никогда

не вела умных бесед, но всегда готова была услужить, сделать приятное. Весьма упитанная, нарядно одетая, с приветливой улыбкой на губах, она аккуратно отдавала визиты: поначалу в изящном экипаже, затем в автомобиле. Званные обеды она посещала в бархате, в церковь ходила в мехах или в перьях и раз в месяц принимала у себя. Тепло встречая гостей в красивой гостиной, Милли внимательно слушала, никогда никому не возражала, никогда не умничала, ничего не доказывала, разве что могла мягко посоветовать, но тотчас с улыбкой спешила отказаться от своих слов, если ей казалось, что совет вызвал хоть малейшее неудовольствие.

Вот это женщина! Каким чудесным местом был бы наш мир, если бы все жены больше походили на Милли, частенько думали Ботты-мужчины (ибо произносить подобные мысли вслух не годилось), когда у них случались неприятности с собственными супругами. Милли не доставила Эрнесту и малейшего неудобства, не омрачила ему жизнь ни на день, ни даже на час. Милая малышка Милли, славная, покладистая! За такую женщину любой что угодно отдаст. К тому же на нее приятно посмотреть: такая она сдобная, домашняя – всем женам в пример. С тощей женой нечего и надеяться на удобство и уют: это все равно что заказать жесткий матрас и ждать, когда спать на нем будет удобно. У костлявой жены кости впиваются в характер, думали те удрученные братья Ботт, чьи жены отличались худобой, а с недавних пор и сварливым нравом. Но сокрушались они втайне. На людях же каждый, как и надлежит мужу, представлял любящим и довольным жизнью.

И вот Милли стала вдовой, причем богатой, но ни один из братьев к тому времени не овдовел, чтобы жениться на ней и сохранить ее в семье вместе с деньгами бедного старинны Эрнеста. Ее тотчас же умыкнут, едва пройдет год, иначе и быть не может. Какой здравомыслящий мужчина не пожелал бы похитить Милли, даже будь она бедна; не мечтал бы до конца своих дней покоиться на этой нежной, мягкой, пышной, как пуховая подушка, груди и навеки избавиться от раздоров и ругани?

Невестки, размышляя о кругленьком состоянии Эрнеста, возражали: «Зачем ей замуж теперь, когда и так живет припеваючи и может делать все, что вздумается?» Одна из них, обладавшая бурным темпераментом, чем очень гордилась, и постоянно твердившая мужу, когда тот ей прекословил, что он должен на коленях благодарить Господа, ибо женат на настоящей женщине, а не на вялой курице, заметила: «Не похоже, что в ней есть хоть какой-то задор. Бедняжка Милли не из тех женщин, которым нужен мужчина».

А почтенных лет дама, в чьем доме велись эти разговоры (старейшая из всех, подлинная миссис Ботт, прародительница семейства, бабушка многочисленных внуков, успевшая обзавестись изрядным числом правнуков и даже готовившаяся стать прапрабабушкой; та, что жила на вершине Денмарк-Хилл, дабы, как она часто говорила, всегда быть в распоряжении всех своих дорогих деток на случай, если она им понадобится, но не настолько близко, чтобы им докучать), задумалась, погрузившись в воспоминания, и лишь медленно покачала головой в ответ на слова жены Джорджа, которая, как ей иногда казалось, больше походила на цыганку, чем на леди, однако предпочла промолчать, поскольку давным-давно усвоила, что в семейной жизни чем чаще воздерживаешься от замечаний, тем лучше. Старой миссис Ботт вспомнилась странная сцена, разыгравшаяся в этой самой комнате десять лет назад, когда Милли, всегда такая тихая и благонравная, подошла к окну теплым весенним утром (да-да, определенно дело было весной при теплой погоде: старуха ясно помнила, что французское окно было распахнуто и садовник подстригал лужайку, которая превратилась вдруг в покрытое ромашками поле). Какое-то время Милли молча стояла у окна, глядя на пейзаж, затем резко повернулась. В ней произошла какая-то странная перемена: теперь она казалась другой, непохожей на себя, вдобавок ее словно бросило в жар (бедное дитя, после такой-то прогулки!). Она сказала, что чувствует, будто скоро, возможно, уже не выдержит – настолько ей все опротивело.

– Всё, всё! – выкрикнула она громко, словно не могла больше сдерживаться, и нелепым жестом вскинула руки к багровому от долгого пути в гору по жаре лицу, потом вдруг прибавила со слезами на глазах: – Я больше не могу... Я дошла до края...

«До края? – подумала старая миссис Ботт. – Какого края? В жизни так много краев, а в молодые годы мы часто подходим к краю, но лишь убеждаемся, что это и не край вовсе».

Так-так. Она подала тогда Милли чашку чая. Бедняжка Милли. Наверняка, тут замешан мужчина, решила пожилая дама: или это Эрнест – и речь идет о размолвке, – или какой-то другой мужчина и то, что эти несчастные, страдающие, обуреваемые страстями дети называют любовью.

Впрочем, что бы это ни было, оно прошло. Милли больше не упоминала о случившемся и вскоре стала прежней, мягкой: покладистой и всем довольной. В самом деле, всего через какой-то месяц после той вспышки она уже была еще милее, если такое возможно, и благодуще, чем раньше. «Набирается ума, – заключила почтенная дама. – Утомилась. В жизни так и бывает».

Бедные дети, нередко вздыхала миссис Ботт, размышляя о своем потомстве, тяжело им подчас приходится. Они не знают (и никто не в силах им объяснить, ведь все равно не поверят), что в конце концов все образуется, настанут тихие безмятежные дни, а нынешние беды с высоты прожитых лет покажутся сущими мелочами. Не стоит так сокрушаться, мучиться, терзать свои бедные пылкие сердца – ни к чему это, совсем ни к чему.

И вот теперь, десять лет спустя, Милли осталась одна и, потрясенная, безмолвная, застыла в оцепенении, устремив на колени неподвижный взгляд, и ничто не могло привести ее в чувство. Она сидела здесь, в спальне, в той самой комнате, из которой вышел Эрнест в свое последнее утро, не подозревая, что уже никогда не вернется назад, а старая миссис Ботт, которую привезли с Денмарк-Хилл на похороны, оставалась рядом с невесткой, пока внизу, в столовой, читали завещание, и тщетно пыталась ее утешить, временами приобнимая дрожащей рукой за неподвижное, покрытое черным крепом плечо, и говорила все, что представлялось ей уместным.

Если бы только это плечо дрогнуло, думала старая миссис Ботт, если бы бедняжка Милли разрыдалась... Но эта неподвижность, безмолвие, застывшее бледное лицо, низко опущенная голова выражали скорбь куда более глубокую, какую не выразить никакими рыданиями. Кто бы мог подумать, что Милли так сильно любила Эрнеста? Старая дама бесстрастно вернулась мыслями к сыну и удивилась.

– Ты ведь знаешь, дорогая, – проговорила она дрожащим голосом, ибо к тому времени ослабла совершенно, – мы позаботимся о тебе: проследим, чтобы ты никогда не оставалась в одиночестве. Девочки (так старая миссис Ботт называла своих дочерей и невесток, которым перевалило за сорок, пятьдесят, а то и за шестьдесят), только и думают, как бы окружить тебя самой нежной заботой. – Опущенные ресницы Милли чуть дрогнули. – И в твоём образе жизни ничего не изменится, дорогая, поскольку Алек говорит (это старший сын почтенной матроны), что Эрнест оказался куда более состоятельным, чем мы могли помыслить (право, я не понимаю, почему мужчины так тщательно скрывают свои доходы), а ты получишь все его состояние и останешься в своём красивом доме, который тебе так дорог.

– Я этого не заслуживаю, – чуть слышно выдохнула Милли.

Что это, слеза? Несомненно, что-то капнуло ей на колени.

– Ну-ну, – протребезжала старая миссис Ботт и опять обняла невестку за плечи (теперь и ее глаза наполнились слезами). – Полно, полно. Никто из нас не заслужил этого больше, чем ты, Милли, дорогая. Ну, будет, будет. Поплачь, тебе станет легче, намного легче.

И она сама всплакнула, самую малость, ибо годы иссушили почти все ее слезы. Но воспоминания о тех днях, когда Эрнест был еще младенцем, всплыли в ее памяти. Сколько было у нее надежд, как гордилась она сыном, как любила накручивать на палец его мелкие светлые

кудряшки. Потом он полностью облысел, и вот теперь странно и грустно сознавать, что сын лежит один под траурными венками (прекрасными, конечно, и их так много) на кладбище на холме, и будет лежать там до второго пришествия, и не осталось после него ничего, будто и не жил он вовсе, только вдова да деньги. Эрнест не оставил детей. На семейном древе он оказался мертвой ветвью, глухим тупиком. Странно и грустно больше никуда не идти, вдруг остановиться навсегда. При мысли об этом старая миссис Ботт не сдержалась и заплакала. Бедный Эрнест, все его мелкие светлые кудряшки и большие надежды обратились в прах, осталась одна вдова.

– Это всего лишь сон, – сказала строгая дама, вытирая глаза, и глубокомысленно кивнула. – Жизнь – это просто сон. – Потом, видимо, уловив посторонний запах, она встрепенулась и заметила: – Готова поклясться, сегодня у Гленморгана карри на обед.

Перед мысленным взором почтенной дамы простерлись бесконечной чередой прожитые годы, усеянные черными точками смертей. Она видела, какими крошечными стали эти точки, как они все съеживались, пока первые не превратились в едва различимые крапинки, так что стало очень трудно разобраться в них, понять, где чья, кто из них кто. Она опять глубокомысленно кивнула и проговорила:

– Все это сны, моя дорогая. В конце концов понимаешь, милая Милли, что это одни только сны. – Ее дрожащая рука еще покоилась на плече невестки, покрасневшие старческие глаза устремили взгляд на дом напротив.

Как странно, подумалось ей, что люди, чьи смерти отмечены точками, стерлись из ее памяти; муж, к примеру, вот уже пятьдесят лет как покоится в могиле, но его образ явственно предстал перед ней только теперь, когда накануне ночью она забыла закрыть крышечкой баночку с вазелином. Всю свою взрослую жизнь она каждый вечер перед сном намазывала веки вазелином, но иногда забывала закрыть баночку крышечкой. Когда такое случалось и утром бедняжка Александр это видел, то обычно ее бранил: говорил, что разводится грязь и антисанитария, что в мазь попадают микробы и пыль, – припомнила пожилая дама. И вот теперь, стоит ей проснуться утром и обнаружить, что на баночке нет крышки, муж вспоминался необычайно ясно и отчетливо, но только так и не иначе. Как нелепо. Старая миссис Ботт машинально потрепала Милли по плечу и глубоко задумалась о странностях жизни. О бедном Александре напоминает лишь баночка вазелина без крышки – вот и все, что от него осталось.

Она поморгала. Яркие лучи солнца падали на красный дом напротив, слепили глаза. Жизнь и вправду была лишь сном. Из того дома тоже доносился запах еды: на этот раз преобладал дух цветной капусты, заключила старая миссис Ботт, с любопытством потянув носом. Жизнь – сон, это верно, но случались и моменты пробуждения. До самого конца жизни еда оставалась явью, интересной явью. Уверена, это те чудачки, на которых жаловался Эрнест, подумала она, вздернув нос. Он еще говорил, будто они не едят мяса и всю ругают Англию. «Бедняжки, – снисходительно вздохнула почтенная дама, – им приходится такое выдерживать», – и пожелала ради их же блага, чтобы мучения соседей поскорее кончились, ведь они упускают так много славных кусочков баранины, и трудно, должно быть, любить Англию или что-то еще, если набиваешь себе живот одной цветной капустой.

Стоило ей подумать об этом, как дверь спальни приоткрылась и в щель просунулась голова ее младшего сына Берти, плотного, вскормленного мясом мужчины пятидесяти двух лет; осторожность, с которой двигалась голова, не оставляла сомнений, что остальное тело стоит на цыпочках.

– Входи, Берти, и закрой дверь, – продребезжала старая миссис Ботт. – Ни к чему устраивать сквозняк.

– Ты в состоянии, – произнес он приличествующим случаю полупшепотом, глядя на невестку, – выдержать разговор?

– Говори громче, Берти, – надтреснутым голосом распорядилась дама. – Что толку стоять тут и корчить гримасы. В состоянии ли она выдержать разговор? Да, разумеется. Милли всегда в состоянии выдержать что угодно. Разве не так, моя дорогая? – И она опять потрепала обтянутое черным крепом плечо, ибо из всех невесток выделяла эту. Милли нравилась ей больше других, она ее даже любила.

Берти сделал осторожный быстрый шаг за порог комнаты и проворно, без единого звука затворил за собой дверь; в этом искусном бесшумном движении чувствовался немалый опыт и изрядная ловкость, поразительная для мужчины столь крупного и грузного. Это невольно навело старую миссис Ботт на мысль, что ее Берти, возможно, не был верным мужем. Такая сноровка в бесшумном закрывании дверей... Так-так. Бедные дети, им приходится бороться до конца. Оставалось только надеяться, что Берти не слишком беспокоится об этом и не изводит себя угрызениями совести. Когда он состарится, как она, то поймет, что и эти тревоги были лишь сном, а терзаться угрызениями из-за того, что в конце концов обращается в призрачное сновидение, лишь печальная трата времени.

– Моя бедная Милли, – внушительно начал Берти мрачным тоном, словно принес дурные вести.

Выглядел он до странности взволнованным – вернее сказать, глубоко огорченным, решила старая миссис Ботт, окинув сына удивленным взглядом. Он пересек комнату, подошел к креслу невестки, подтянул к себе стул и, сев возле Милли, накрыл ее руку ладонью. На лице его читалось столь явное желание придать ей сил, что изумление матери лишь усилилось. Силы? Зачем они Милли при таком наследстве?

– Завещание уже огласили?

– Видимо, Эрнест был болен, – ответил Берти и неловко откашлялся.

– Болен? – эхом отозвалась мать. – Ты хочешь сказать, когда взял то такси?

– Когда составлял завещание, – отозвался Берти, явно пребывая не в своей тарелке. – Точнее, когда сделал приписку.

Тут старой миссис Ботт стало ясно, что сейчас последует удар, и надтреснутым голосом она осведомилась поверх склоненной головы Милли:

– Какую приписку, дорогой?

Берти посмотрел на бедную вдову. Подумать только: ну как можно ранить такое нежное, кроткое и терпеливое существо, как эта пухлая, одетая в черное фигурка в кресле. Ее ступни упирались в низенькую скамеечку, поскольку ноги были такими короткими, что не доставали до пола. Милые маленькие ножки! Проклятье! Сейчас не время думать об этом, одернул он себя.

– Бедняжка Милли! – Он взял вдову за руку.

– Говори, что должен, Берти! – продребезжала старая миссис Ботт.

– Боюсь, дело это скверное, очень скверное, – покачал головой Берти, явно не в силах продолжать.

– Тогда ни к чему ходить вокруг да около! – отрезала старуха.

Берти крепко, до боли сжал руку Милли и выпалил, что не понимает Эрнеста, решительно отказывается понимать.

– Почему? – Старая миссис Ботт не на шутку встревожилась.

– Это так несправедливо! – воскликнул Берти. – Это просто непристойно.

– Но почему, сынок? – Рот старой миссис уже кривился и подрагивал.

– Почему? – повторил Берти, выпустил вялую руку Милли, и та снова упала к ней на колени, затем поднялся и отвернулся, не в силах смотреть на невестку (только не теперь, когда ему предстояло нанести удар!) – Почему? – произнес он снова, стоя спиной к обеим женщинам. – Я и сам хотел бы это знать. Эрнест оставил Милли тысячу фунтов, одну жалкую тысячу из сотни тысяч, что у него были, а все остальное пожертвовал на проклятую благотворительность.

Разве так поступают с женой, которая самоотверженно служила мужу двадцать пять лет? И с кем, с Милли!

Почтенная дама тупо смотрела ему в спину, и губы ее так дрожали, что словно складывались с трудом.

– Что бы...

– Вдобавок все имущество должно быть продано: дом, мебель – все вещи до единой, – и полученные средства также должны быть отданы на благотворительность. Вот так! – Охваченный негодованием, он резко повернулся лицом к женщинам. – Должно быть, Эрнест вконец обезумел. Речь идет о каком-то «Доме спасения» для падших женщин в Блумсбери. Боже, ни один из нас в жизни не имел ничего общего с подобными заведениями. Я понятия не имел, что Эрнест вообще задумывался о чем-то подобном. Это означает... будь я проклят, если понимаю, что это означает. А Милли, лучшей из жен, о какой только может мечтать мужчина, он не оставил ничего. Ни единого предмета мебели. Только жалкую тысячу фунтов. Видимо, чтобы спасти ее от голодной смерти, хотя бы ненадолго. Чтобы она не окончила свои дни в ближайшей канаве. Это самое скандальное...

Старая миссис Ботт с трудом поднялась, и Берти пришлось ей помочь.

– Проводи меня вниз! – потребовала старая леди. – Не верю ни одному слову! Я сама расспрошу поверенного Эрнеста.

– От него ты мало чего добьешься, – предупредил Берти, поддерживая мать. – Из всех бесчувственных скользких типов с тонкими губами этот самый...

Но он не попытался удержать ее: напротив, взяв под локоть, повел к двери и осторожно проводил вниз по лестнице в столовую.

Когда он вернулся, Милли сидела в той же позе, в какой он ее оставил. Берти быстрым мягким движением закрыл дверь и остался стоять, заложив руки за спину, будто преграждал вход в комнату.

– Послушай, Милли, – проговорил он, – есть еще кое-что. Мама тоже услышит об этом, прежде чем вы увидите снова. Я только надеюсь, что об этом не прознают газетчики: ты знаешь, как они цепляются за каждое слово, если завещание слишком необычно. А что, потвоему, имел в виду Эрнест?

Милли смиренно покачала головой, не отрывая взгляда от своих рук.

– После слов о том, что тебе завещается эта тысяча фунтов, причем он особо подчеркнул: «только тысяча», – что само по себе было подобно пощечине (ума не приложу, что все это значит), Эрнест приписал: «Моя жена поймет почему».

На мгновение в ласковых глазах Милли промелькнула тень какого-то подавленного чувства. Лицо ее вспыхнуло, но яркая краска тотчас сменилась мертвенной бледностью, губы чуть приоткрылись. Она подняла голову и посмотрела на Берти, а руки ее, прежде вялые и безжизненные, сжались в кулаки.

Конечно, подумал Берти. Естественно. Какое унижение! Черт возьми, какая низость! Бедная малышка Милли! Добрая милая женщина, которая и мухи не обидит, и вдруг такое... Такая жена – одна на тысячу, и вот только посмотрите. Берти всегда считал Эрнеста славным малым (может, иногда, когда у него пошаливала печень, немного угрюмым, но славным). Как противно теперь, когда Эрнест мертв, обнаружить, что он был просто негодяем. Какая-то мелкая ссора, опрометчивый визит к поверенному в порыве гнева, быть может – затаенная обида, и вечная преданность, любовь отброшены прочь, стертые грубой оплеухой. Пощечина мертвеца – вот что это, самый подлый из всех ударов. Нет, Берти ни на минуту не поверил, что Милли могла быть инициатором такой ссоры. Должно быть, это целиком вина Эрнеста. Его мог бы оправдать разве что приступ болезни – возможно, он добавил ту приписку к завещанию во

время жесточайшей печеночной колики. Но позволить печеночной колике навеки превратить тебя в подлеца!..

– Я знать его больше не желаю, знать не желаю! – с жаром воскликнул Берти, как будто Эрнеста в его нынешнем положении это могло задеть.

Однако Милли его не видела и, похоже, не слышала. Взгляд ее широко раскрытых глаз был теперь обращен к окну, руки стиснуты на коленях.

– Как долго? – с усилием прошелестела она бледными от потрясения губами, не отрывая неподвижного взгляда от красной стены дома напротив.

– Что, моя дорогая? Что, бедная моя девочка? – Берти подскочил к креслу и склонился над ней. Милая малышка, милая, милая малышка! Вдобавок с такими прелестными темными ресницами, загнутыми вверх. У его жены вообще не было ресниц. Вернее, их не было видно: слишком светлые.

– Когда? – прошептала Милли, глядя прямо перед собой.

– Когда? Ты хочешь сказать, когда он сделал ту приписку? Два года назад. На бумаге есть дата. Понять не могу. – Его полные гнева и сочувствия глаза увлажнились, когда он почувствовал под ладонью теплую округлость плеча Милли. – Как можно было хоть раз посориться с тобой? И хуже всего то, что я не могу позволить себе отвернуться от него, потому что его нет в живых: это было бы недостойно, – но уверяю тебя, Милли...

– Тише! – Она быстро сжала руку, лежавшую у нее на плече, взгляд ее замер на красной стене напротив. Значит, Эрнест все знал. Два года назад. Целых два года он знал. Поразительно. Невероятно...

– Я тебя уверяю, – настойчиво продолжал Берти, не желая умолкнуть, – мы не позволим тебе страдать, потому что Эрнест повел себя как проклятый...

– О нет, – выдохнула Милли. – Пожалуйста... я этого не вынесу... вы не должны... Бедный, бедный Эрнест...

И впервые с того времени, как умер Эрнест, она по-настоящему заплакала. Не помня себя от горя, она прижалась щекой к ладони, которую сжимала в руке, и горько, безудержно зарыдала, сотрясаясь всем телом.

Берти, потрясенный до глубины души, произнес:

– Милли, ты настоящий ангел!..

Глава 2

Что касается Боттов, не все сошлись с ним во мнении.

Вначале они тоже возмущались поступком Эрнеста, стыдились за него и вдобавок крайне холодно держались с поверенным, который потворствовал ему, согласившись составить столь скандальную приписку к завещанию, но вскоре тот сложил свои бумаги в портфель-дипломат и ушел, а они все сидели в столовой, не зная, что делать дальше, пока не пронеслась по комнате, передаваемая из уст в уста свистящим шепотом, на редкость неприятная фраза и не достигла наконец жены Джорджа, которая произнесла ее вслух:

– Дело здесь нечисто.

Едва прозвучала эта фраза, ее тотчас признали верной. «Иначе и быть не могло, дело нечисто» – вот самые подходящие слова. Ни один мужчина не совершил бы того, что сделал Эрнест, и не оставил бы без изменений свое распоряжение, сделанное два года назад, не будь у него веских и, должно быть, ужасающих причин.

– О да, ведь он подлец и трус! – взорвался Берти.

– Берти! – негодуяюще вскричали остальные и с укором напомнили ему, что Эрнест мертв.

– Тут я ничего не могу поделать, – буркнул он, как будто кто-то полагал, что это в его силах.

Жена, прищурившись, окинула его цепким взглядом. Она давно подозревала, что Берти интересуется Милли больше, чем допустимо для деверя.

Старая миссис Ботт выразила желание, чтобы ее отвезли домой. Ее дети, похоже, собирались затеять ссору. Все это совершенно бессмысленно: если бы они только могли понять, что лишь зря тратят время да расточают чувства, бедняжки. Но стоит им начать, их уже не остановишь. Толку от нее здесь все равно не будет, так что лучше отправиться домой, отдохнуть, выпить чаю.

– Алек, дорогой, ты отвезешь меня домой? – продребезжала старая леди, пытаясь привлечь внимание старшего из сыновей, который был так смущен и ошеломлен случившимся, что не слышал ее.

Все Ботты, смущенные и ошеломленные, толпились растерянными группами в столовой, не обращая внимания на уставленный закусками боковой стол и мешая служанкам внести суп и кофе. Дверь закрыли – об этом позаботился Фред. Лучше, чтобы в такое время поблизости не крутились служанки, да и едва ли это был подходящий момент для еды и питья. Впрочем, жена Джорджа, та, что отличалась буйным темпераментом, чьи глаза горели от возбуждения и любопытства, украдкой поглощала одну за другой шоколадные конфеты (но она ведь не была урожденной Ботт!).

– Хитрюга Милли, – прошептала она, спеша первой приписать вдове все грехи. – Этакая тихая, смиренная мышка. Подумать только!

Да, в самом деле хитрюга, подумали остальные невестки.

Прежде в этой семье ничего подобного не случалось. Они стояли, глядя друг на друга, а на заднем плане маячил Титфорд, который ни о чем пока не ведал, но, если не принять строжайших мер предосторожности, узнал бы, и очень скоро, ибо он всегда тотчас узнает обо всем, что случается, дай только повод.

Что же делать? Разумеется, без сомнения, что угодно: дело дурно пахло.

– Вы помните ее сестру? – шепнула жена Берти.

Помнили ли они? Еще бы: так же ясно, будто это было вчера. Одна кровь, говорили их глаза, когда они сокрушенно кивали, отрава снова дала о себе знать. Но когда дурная кровь дает о себе знать в девятнадцать лет – это одно, а когда в сорок пять – это, конечно, куда хуже.

Нет-нет, говорили братья и зятья, сгрудившись в кучу, это невысказано. Думать противно, даже на минуту невозможно представить, что Милли... Истина в том, что Эрнест был трусом, вдобавок с дьявольским характером, который он не смел показать, поскольку знал: никто не поверит, будто Милли могла дать ему повод для недовольства. Вот он и отомстил, выместил на ней свою злобу, сыграв эту подлую шутку. Крайне неприятно, что приходится считать его негодяем теперь, когда он мертв, но ничего не поделаешь.

Да-да, говорили сестры и невестки, несомненно, так и есть, и как только братья могут говорить так дурно о бедном Эрнесте, которого уже нет с нами? Конечно, неприятно, что приходится иначе взглянуть на Милли, которую всегда ставили им в пример как образцовую жену (они посмотрели на своих мужей) и образцовую дочь (они перевели взгляд на почтенную пожилую даму); неприятно, но приходится признать, что все это время она их обманывала, ведь порочить покойных никак нельзя. Очевидно, Милли каким-то образом глубоко ранила Эрнеста. Да, должно быть, оскорбила. Только так и можно объяснить эту приписку к завещанию. Целых два года, а возможно, и дольше, она водила всех за нос. Она, в ее-то возрасте и с ее фигурой!

– Послушайте, тощие жерди, оставьте в покое фигуру Милли! – вспыхнул Берти.

«Надо же такое сказать! – в негодовании подумали женщины. – Причем именно сейчас, когда мы все собрались по случаю события, которое только что перестало быть похоронами».

– Алек, дорогой, – возвысила дрожащий голос старая миссис Ботт, снова пытаясь привлечь внимание сына.

– Замолчи, Берти! – пробормотал брат Джордж, тихий плотный мужчина с очками в роговой оправе на носу.

Он сам охотно сказал бы что-нибудь подобное, но какой в том прок? В конце концов, ему и братьям придется улечься в постель со своими женами, а если в спальне не будет царить покой, то на следующий день все пойдет кувырком, в делах наступит полный хаос. Вот как, думал Джордж (мужчина простой и разумный, с простыми разумными мыслями), женщины и берут над нами верх: просто терзают нас, истощают, изнашивают в постели.

– Алек, дорогой...

– Препирательства – пустая трата времени. – Фред, самый богатый в семье, вынул из кармана часы.

– А я бы сказала: громадная потеря времени – забыть, что джентльмен должен вести себя соответственно, – вмешалась жена Алека, обычно немногословная, но глубоко уязвленная словами Берти.

– Вопрос, несомненно, заключается не в том, – произнес Алек и нервно пригладил бороду, – что сделала Милли или чего не сделала, и даже не в том, на что похожа фигура бедняжки. – Тут он примирительно взглянул на собравшихся в кучку жен. – Главное – какие шаги мы должны предпринять, чтобы не поднялась шумиха. На мой взгляд, крайне важно избежать огласки.

Да, они понимали – с этим согласились все, – и все содрогнулись, когда представили, какие слухи поползут по Титфорду, если станет известно, что Эрнест обделил жену в завещании, оставив ей жалкую тысячу фунтов, а все остальное пожертвовал на благотворительность. Об этом никто не должен узнать. Слухи необходимо пресечь любой ценой. Благотворительность! Чем больше они об этом думали, тем сильнее их мучил стыд. Воистину ни одна комната прежде не вмещала столько людей, охваченных стыдом, как столовая Эрнеста в тот день. Они стыдились за покойного, стыдились за поверенного, стыдились за Милли, но больше всего (они осознали это, обдумывая все позже) стыдились за жертвование. «Дом спасения» для падших женщин? Выбрать подобное заведение – просто неслыханно. Совершенно необъяснимый поступок со стороны Эрнеста.

Но затем как-то само собой и этому нашлось объяснение. Неизвестно, кому первому пришла в голову та мысль, но разгадка, подхваченная сестрами и невестками, понеслась по комнате тихим шепотком от одного уха к другому, ужасная разгадка: «Он хотел обеспечить ее будущее».

Всех охватила дрожь, в столовой повисло молчание, потом у кого-то вырвался сдавленный смешок.

– Алек, дорогой, – продребезжала старая миссис Ботт более настойчиво. Бедные дети, в них столько гнева и злобы. Куда как лучше съесть немного горячего супа с сэндвичем, а затем тихо отправиться домой и хорошенько выспаться.

– Господи, как бы я хотел... – снова взорвался Берти и с такой силой обрушил кулак на стол, что чашки подскочили на блюдцах.

Но он так и не сказал, чего хотел от Господа. Берти оборвал себя, весь красный, словно воротничок сорочки начал его душить. Какой в этом прок? Лучше промолчать, решил он, вспомнив (и он тоже), как важен ночной покой. Ведь на следующий день ему предстояло уладить одно деликатное дело с Паллисером и Лидсом. Он не мог себе позволить явиться на встречу с истрепанными в клочья нервами.

Фред снова взглянул на часы и заметил:

– Мы теряем время.

– Совершенно верно, – подтвердил Алек, нервно поглаживая бороду. Среди Боттов он единственный носил бороду, и весьма красивую, довольно длинную, посеребренную сединой за прожитые годы, всегда безукоризненно чистую. Борода служила ему великим утешением: когда Алек волновался и нервничал, то всегда ее поглаживал – его это успокаивало.

– Какую линию поведения мы выберем в отношении Милли? – осведомился Фред и щелкнул крышкой золотых часов, завещанных ему отцом.

– Куда важнее, – возразила жена Берти, – какую линию поведения мы выберем в отношении Титфорда.

– Разве это не одно и то же? – подал голос один из зятьев, мужчина мягкий, и, несомненно, подумал: «Не слишком ли воинственно я задал вопрос?»

Жена Берти, как видно, решила, что он и вправду взял неверный тон, поскольку повернулась к нему и язвительно ответила, что это вовсе не одно и то же, и прибавила:

– По крайней мере, мне так кажется, но, возможно, я не настолько умна, как вы.

«Бедный старина Берти», – подумал зять.

«Бедные детки», – подумала старая миссис Ботт и произнесла:

– Алек, дорогой...

– Конечно, одно и то же, – отчеканил Фред. – Для Титфорда.

– Я тоже так считаю, – решился вставить слово Алек, запустив пальцы в бороду. Он безумно боялся семейных совещаний. Женщины, когда собирались вместе, раззадоривали и подстрекали друг друга. По отдельности они были довольно милыми и добродушными. Какая злая сила вселялась в них, отчего они становились дикими и непокорными, стоило им собраться вместе? Даже его тихая жена Рут...

Тогда Уолтер Уокер из «Шадуэлл и Уокер», что на Треднидл-стрит, один из крупнейших комиссионеров по продаже шерсти, возвысил голос и осторожно высказал свое предложение.

– Правда, не знаю, насколько это поможет, – сразу оговорился он, чтобы показать: он отлично сознает, что не один из Боттов, а лишь связан с ними узами родства, а потому едва ли способен предложить что-то дельное. – Каждой семье по очереди нужно взять Милли к себе погостить месяца на три... возможно, на полгода. Пригласить бедняжку в дом, окружить заботой... – Он осмелел настолько, что заставил себя бесстрашно обвести взглядом сквозь очки невесток и своячениц. – Поскольку это не только, без сомнения, достойное поведение

по отношению к той, что всегда заслуживала самого доброго отношения, к той, что внезапно потеряла все: мужа, состояние и дом, да вдобавок осталась бездетной...

– И по чьей вине? – вмешалась его жена.

– Моя дорогая, ты ведь не станешь уверять, будто ее вина в том, что она потеряла Эрнеста, – мягко возразил Уолтер.

– Или в том, что у нее нет детей, – подхватил Берти.

– Пожалуйста, давайте обойдемся без грубостей, – заговорила жена Берти, сощурившись.

– Ты прекрасно понял, что я хотела сказать, – продолжила жена Уолтера. – Чья вина в том, что она потеряла состояние?

– Эрнеста, конечно, – отозвался Берти.

– Обидно, Берти, что ты так упорно говоришь это о покойнике, – укорила деверя жена Алека.

«Несчастливые дети, сколько в них гнева. А сам Эрнест, из-за которого они ссорятся, тихо-тихо лежит себе на холме под своими прекрасными венками».

– Алек, милый...

– Ладно, мы не будем сейчас это обсуждать, – отрезал Фред, в третий раз посмотрев на часы.

– Могу я закончить свою мысль? – кротко спросил Уолтер Уокер.

– Вне всякого сомнения, – ободрил его Алек, пытаясь найти утешение в своей бороде.

– Это будет не только достойный поступок, – Уолтер прочистил горло кашлем, – но и превосходный, наилучший способ пресечь сплетни и нападки. На мой взгляд (конечно, я только предлагаю, вы можете со мной не согласиться), – он, как бы оправдываясь, обвел глазами собрание, – каждой семье по очереди следует приглашать Милли к себе в дом и принимать радушно, тепло и приветливо, причем так, чтобы все в Титфорде об этом знали.

– Ты хочешь сказать, что так всегда и будет продолжаться? – воскликнула его жена.

– А почему бы и нет? – спросил он.

– Ты хочешь сказать, что Милли будет гостить у всех нас по очереди до конца своих дней? – осведомилась жена Берти.

– Почему бы и нет? – повторил Уолтер Уокер.

Наступило молчание. Женщины переглянулись: даже если отбросить в сторону нежную заботу о Милли (полнейшая глупость со стороны Уолтера: с какой стати оказывать радушный прием той, что навлекла на них одни неприятности и позор?), взять к себе в дом родственницу – дело крайне деликатное. Даже при самых счастливых обстоятельствах, какие они только могли вообразить, подобный шаг ставит семью в щекотливое положение, если только особа, которую приглашают в дом, не богата настолько, чтобы не нуждаться в благодеяниях. А нынешние обстоятельства никак нельзя было назвать счастливыми. Напротив, их следовало бы назвать крайне сомнительными. Женщины семейства Ботт твердо в это верили, а их мужья смутно подозревали. Потребуется изрядный запас человеколюбия, думали жены (за исключением жены Джорджа, исполненной волнения и любопытства и жаждущей незамедлительно взять к себе невестку), чтобы впустить Милли в свой дом и в свое сердце, в круг невинных детей и внуков после всего, что она натворила, что бы это ни было. Да вдобавок холить ее и лелеять!

– Уолтер совершенно прав, – заявил Фред.

– Конечно, ей нужно где-то жить, – отозвался Алек.

– А на проценты от тысячи фунтов не проживешь, – неодобрительно заметил Уолтер Уокер. – С такими деньгами, конечно, можно прожить, но разве что на чердаке или в подвале, или умереть. Уверен, никто из нас не хочет, чтобы Милли жила на чердаке или в подвале и тем более умерла.

– Я плачу машинистке полторы сотни в год, – сказал Фред, – в три раза больше, чем то содержание, что получит Милли со своей тысячи, а это лучшее, на что она могла бы рассчитывать. Так что, похоже, наследство не спасет ее от нищеты.

– Разумеется, мы не можем позволить кому-то из нашей семьи жить на чердаке или в подвале, – вмешался Алек, потрясенный зловещей картиной, которую нарисовал Уолтер.

Нет, конечно, этого нельзя допустить, согласились жены и сестры. Семья всегда вела себя щедро и великодушно, когда дело касалось денег, и ни за что не дала бы Титфорду повод заподозрить ее в низости или скарденности. Возможно, Милли придется приютить. Но как это неприятно, как неловко и, без сомнения, мучительно.

– И чем скорее, тем лучше, – заключил Берти.

– Полагаю, начнем с нас, – прищурилась и смерила взглядом мужа его жена.

«Она похожа на зубочистку, – подумал Берти, со злостью глядя на нее. – Такая же тощая».

Но вслух произнес, стараясь придать голосу спокойствие:

– Дом могут продать со дня на день без ведома Милли. Мне не понравилось, как смотрел на нее тот молодчик, поверенный Эрнеста. В его глазах была враждебность.

– Возможно, он знает больше, чем мы, – возразила его жена.

Берти снова метнул на нее свирепый взгляд, но промолчал.

– Но почему же Эрнест утаил все от нас и назначил своими душеприказчиками какого-то адвоката, которого никто из нас не знает, и директора того крайне неприятного благотворительного учреждения... – произнес Алек и сжал в кулаке бороду.

– Да, я тоже не понимаю, – согласился Уолтер Уокер.

– Во всем этом есть что-то чертовски странное, – подтвердил Фред.

– Дело нечисто, – проронила жена Джорджа.

И в самом деле, чем больше они об этом думали, тем чаще приходило на ум слово «нечисто» – одно, единственно верное.

– Но когда вы, мужчины, говорите, что мы должны не только приютить ее, но и окружить заботой... – начала жена Берти.

«Она и есть самая настоящая зубочистка, – сказал себе Берти, сунул руки в карманы и отошел к окну, глядя перед собой. – Все зудит и зудит...»

– Только мужчине может прийти в голову подобная мысль, – изрекла жена Уолтера Уокера и сурово посмотрела на мужа: тот тоже направился к окну, встал рядом с Берти и рассеянно обвел взглядом открывшийся вид.

– Черт возьми! – буркнул Фред, самый преуспевающий в этом преуспевающем семействе и самый храбрый из Боттов. – Ее нельзя не окружить самой нежной заботой. Это было бы бесчеловечно. Ей нужна ласка.

Ласка?

Ответом было потрясенное молчание.

– Конечно, вы, мужчины, думаете, будто это так просто, – произнесла вдруг жена Фреда, чего никто не ожидал, поскольку обычно она предпочитала помалкивать.

– Да, вы всегда выставляли себя полнейшими глупцами, когда дело касалось Милли, – заявила старшая из сестер Ботт.

– Наводили смертельную скуку, перечисляя ее добродетели: Милли – то, Милли – это, – проворчала другая сестра.

– Твердили о ней изо дня в день, пока нам не опостылело само ее имя, – подхватила еще одна сестра.

– Как можно было ею восхищаться за то лишь, что она расплылась и утратила былую фигуру? – проговорила другая, и все четыре жены четырех братьев Ботт единодушно кивнули в знак согласия.

Эта внезапная вспышка злости привела мужчин в изумление, а те двое, что стояли у окна, даже обернулись.

– Но нам всегда казалось, что наши жены очень любят Милли, – слышался чей-то удивленный шепот.

– Любим Милли? Конечно, мы ее любили! – воскликнули женщины. – Но это нас никогда не ослепляло...

– Вдобавок вы хорошо знаете: теперь все изменилось...

– Вы же сами признали, что дело нечисто...

Следующие десять минут в комнате слышался лишь неясный шум разгоряченных голосов и обрывки фраз.

Бедные, несчастные дети, сколько в них страсти и гнева! Старая дама могла лишь сидеть и слушать, сжимая трясущимися руками набалдашник трости. Бессмысленно и пытаться их остановить. Придется им самим пройти этот путь до конца. Вскоре в комнате снова воцарится покой, а шум и ярость, что бушевали вчера, месяц, год, двадцать лет назад, исчезнут навсегда, растворятся в тишине. А потом, не успеют они оглянуться, задуматься и осмыслить прожитые годы, как эти несчастные, обуреваемые страстями дети тоже упокоятся навсегда, уснут вечным сном, как Эрнест. Жаль, они не понимают, и никто не в силах заставить их понять, что в конце все это уже не будет иметь значения; неважно, что хотел сказать Эрнест или что совершила Милли, им следовало быть добрее друг к другу и наслаждаться счастьем в этот самый день, как, впрочем, и во все остальные из немногих отпущенных им дней, и вместе поесть чудесного супа с сэндвичами в тишине и покое. Кухарка Милли как раз приготовила такой. Жаль, теперь все пропадет, и ради чего – чтобы злиться и сыпать оскорблениями?

Сделав громадное усилие, она ухватилась одной рукой за каминную полку, другой тяжело оперлась на трость и поднялась с кресла.

Все повернулись и удивленно воззрились на нее. Дети забыли, что она здесь.

– Мои дорогие, – продребезжала старая дама. – Я хочу вернуться домой.

– Конечно, мама, – отозвался Фред, стоявший ближе всех, просунул ее руку себе под локоть и погладил. – Вы устали?

– Я вызову машину. – Алек позвонил прислуге.

– Я вас не видел, мама: вы сидели так тихо, – произнес Джордж.

– Мои дорогие, – обвела она всех глазами, – не ссорьтесь.

– Мы просто обсуждаем, – сказала старшая дочь.

Она вышла замуж довольно поздно, и это стало великим облегчением для старой миссис Ботт, поскольку одно время все думали, что этого никогда не случится, а было бы очень жаль: почтенная дама считала, что женщина, пока не пройдет через испытание замужеством, никогда по-настоящему не поймет замысла Господнего в отношении ее.

– Мама, – объяснила старшая дочь остальным, хорошо знакомым с этой теорией, – всегда думает, будто мы ссоримся, когда что-то обсуждаем.

– Обычно бывает именно так, мои дорогие, – заметила старая дама. – К тому же вы ужасно распяетесь. Посмотрите на свои сердитые лица. Лучше бы вы все поели этого славного супа, запах которого доносится из-за двери. Уверена, он уже готов: только и ждет, чтобы его принесли с кухни. Тарелка супа пойдет вам на пользу.

– Мама, – объяснила старшая дочь остальным, столь же хорошо знакомым и с этой теорией, – неизменно считает, будто все можно уладить с помощью тарелки супа или чашки чая.

– В основном так и случается, моя дорогая, – ответила почтенная дама, опираясь на руку Фреда.

– Эта теория вовсе не лишена смысла, – произнес муж самой младшей из дочерей, некий мистер Ноукс из страховой компании «Вдовцы Уэльса», и жена Джорджа с ним согласилась.

– Давайте поедим супа, Алек. Может, и по бокалу хереса выпьем в придачу?

– И еще, дорогие мои, – продолжала пожилая дама, обращаясь ко всем, пока рука Фреда служила ей опорой, – пожалуйста, не забивайте свои бедные головы мыслями о Милли и о том, кто ее приютит, поскольку я сама намерена взять ее к себе и позаботиться о ней. Так-то, Уолтер, дорогой.

– Вы, мама?

Вся семья не сводила глаз со старой миссис Ботт.

– Но вам это не по средствам... – начал кто-то.

– Не по средствам, мои дорогие? – перебила она. – Да, пожалуй, но это по средствам вам. Все вы можете разделить расходы, и каждый внесет свою лепту – сколько, по-вашему, будет довольно для бедняжки Милли. Ей много не нужно. Она так мало ест.

Теперь все смотрели друг на друга. Ну конечно! Это единственно верное решение. И такое надежное. Все избавятся от обузы, Милли будет укрыта от досужих сплетен и пересудов, а любовь и респектабельность старой дамы станут для невестки крепким щитом. – И как никто раньше об этом не подумал? Чудачка мать в своем почтенном возрасте все еще могла высказать здравую мысль! Вдобавок обойдется все недорого – прикинув в уме расходы, решила та часть семьи, которую старая миссис Ботт именовала девочками, – выплачивать много не придется. Проценты с тысячи фунтов – неплохое подспорье, а если каждый из девяти братьев и сестер выделит, скажем, пятьдесят фунтов в год...

С каждого по пятьдесят? О нет, это много, слишком много. Пятьдесят с каждого вместе с ее пятьюдесятью составят пятьсот фунтов в год, а ведь ей не на что их тратить, совершенно не на что.

Значит, по тридцать с каждого.

Следует платить по пятьдесят, сказала жена Джорджа, но остальные жены возразили, что это, может быть, и хорошо для нее, ведь у них в семье только один ребенок, и, соответственно, ей почти не на что расходовать деньги Джорджа...

Двадцать, предложил кто-то. Вполне достаточно будет двадцати с каждого.

Жена Джорджа все еще настаивала на пятидесяти, а жена Алека заметила, что, по ее мнению, лучше ограничиться тридцатью...

Наконец они решили, что лучше просто оплачивать все хозяйственные расходы матери, разделив траты между собой.

– А разве ей не нужна одежда? – спросил Фред.

Одежда? Но ведь она вдова, а вдовам ни к чему наряды – по крайней мере в течение года, возразили жены. А кроме того, в ее распоряжении все платья, которые она носила прежде, до смерти Эрнеста. Нет, новая одежда, насколько они могут судить, ей понадобится еще не скоро.

– Если учесть, что платить за Милли мы будем собственными деньгами... – начал было Берти.

– Не совсем собственными, – вскинулась его старшая сестра (у нее, как и у остальных дочерей в семье Ботт, имелись свои капиталы), но тут старая дама, желая положить конец пререканиям, опять вмешалась:

– Я заберу Милли с собой прямо сейчас, если она поедет. Алек, дорогой, поднимись в спальню и приведи ее. Тогда мы вернемся домой как раз к чаю.

Но Алек, спустившись, сообщил, что Милли заснула и просила прислугу передать, чтобы ее не беспокоили.

– Не понимаю, как можно сейчас спать, – пробормотала жена Джорджа.

– Бедное дитя! Пусть поспит, ей это нужно, – сказала старая миссис Ботт и прибавила: – Значит, завтра. – Когда Алек и Фред вывели ее из дома и бережно усадили в автомобиль, дама спросила: – Алек, дорогой, ты мог бы завезти ее ко мне по пути в Сити?

Однако на следующий день, когда делегация из братьев Ботт явилась на Мандевилл-Парк-роуд, чтобы рассказать Милли о принятом решении и объяснить, что это не просто наилучший, а единственно возможный выход и что она не может оставаться в доме, поскольку в любую минуту его могут продать, они обнаружили, что вдова уехала рано утром, еще до завтрака, и никто не знает куда.

Глава 3

Милли грешна, вот уж целых десять лет как.

Подозрения золовок и невесток, сомнения деверей и зятьев были вполне справедливыми: она обманывала Боттов и все эти годы была неверна Эрнесту.

Началось все совершенно случайно. Ведь это чистая случайность, думала Милли, оглядываясь назад и возвращаясь мыслями к самому началу; теперь она понимала это с ужасающей ясностью, которая есть не что иное, как ступень осознания. Пустячные мелочи потянули за собой всю цепь событий. Приди она пятью минутами раньше или позже, и никогда бы не встретила Артура. Пропущенный поезд, медлительный шофер такси, даже минутная заминка во дворе, чтобы посмотреть на голубей, или, возможно, капелька благопристойной сдержанности могли бы ее спасти. Но, увы, Милли успела на поезд, такси мчалось быстро, голуби ее не интересовали, и она переступила порог вовремя, чтобы там, в Британском музее, в галерее, где стоят бюсты римских императоров, встретить Артура Озуэстри, с кем и согрешила.

Да, в конце концов грех случился. Долгое время они даже не помышляли, что все идет к этому. Милли обнаружила, что грех подкрадывается незаметно и бесшумно следует за ней, хотя довольно долго сохраняет личину благообразия. Они неделями встречались, прежде чем это действительно произошло, – встречались там же, в Британском музее, потом в Национальной галерее, в чайных, в парках, а однажды даже в Вестминстерском аббатстве, что казалось теперь особенно греховным. Недели проходили в беседах, приятных, утешительных, озарявших ее дни, совсем непохожих на разговоры в Титфорде; за ними последовали недели сомнений, боязливой дрожи, вспышек румянца, когда она возвращалась домой и безмятежный взгляд Эрнеста задерживался на ней дольше обычного. Она вздрагивала, если муж вдруг заговаривал с ней, а какими грязными, презренными казались ей теперь их жалкие соития! Потом наступили недели, полные нестерпимого желания отгородиться от Боттов, освободиться от всех обязательств, а за ними пришло время отвращения и острой жажды, недели мучительных попыток следовать долгу, избегать Артура, не видеть его, забыть, стереть из своей жизни. Да, прошло много времени, и все же в конечном счете грехопадение произошло, они вступили в пору счастья, полного сомнений, в пору бесконечного нетерпеливого предвкушения и вечных несбывшихся ожиданий, в пору чудесных грез, когда они были в разлуке, и острых, как лезвие бритвы, чувств, когда были вместе. И всегда их преследовал безумный страх: страх, что их разоблачат, – и этот страх придавал остроты их страстной любви, запретной страстной любви, иными словами – греху. Милли знала это с самого начала, а теперь осознала снова, и это ее ошеломило.

Кто бы мог подумать, размышляла Милли в то время, изумленная свершившимся в ней переворотом, что она способна на столь страстную любовь? Такого она от себя никак не ожидала. Тогда ей было тридцать пять лет, а Артуру сорок пять, она никогда никого не любила прежде, тем более страстно, и в точности то же самое Артур сказал о себе. Что до него, заботливая сестра, которая жила с ним, недавно умерла, он остался один: потерянный, несчастный, безразличный ко всему, – а потом нашел Милли, и его жизнь, ставшая вдруг пустой и скудной со смертью сестры, преобразилась. Он встретил милую, нежную, любящую женщину, очаровательную, пухлую, как подушка, малышку, у которой не было детей, чье сердце, как он позднее обнаружил, было полно нерастраченной материнской любви. Вдобавок она плакала в тот день, а Артур не выносил слез. Она стояла словно приклеенная возле бюста Марка Аврелия, стараясь быть незаметной, и ее собственный теплый бюст колыхался от рыданий. Но Артур, прихрамывая, как раз проходил мимо (он слегка припадал на одну ногу, и какую пронзительную, бесконечную нежность это пробуждало в ней потом!), увидел это колыхание и попытку спрятаться за скульптурой. Как он только нашел в себе мужество, ведь у него почти не было

знакомых женщин, и долгие годы он жил вдвоем с сестрой в квартире в Оксфорде, где преподавал античную литературу в колледже Эбенизера, а подобное занятие охлаждает кровь. До встречи с Милли Артур не отличался особым пылом, но вот сейчас вдруг заговорил и в тот же миг – хоть и обнаружил это не сразу, а много позже – нырнул с головой в страстную любовную связь с чужой женой, иными словами – увяз в грехе.

Впрочем, в сравнении с ее грехом его грех ничтожен, думала Милли, широко раскрытыми глазами глядя в прошлое. Ведь он не был женат, а значит – никого не предавал, тогда как она...

Какой ужас! Вечером в день похорон Эрнеста в запертой спальне, когда все думали, что она спит, сломленная горем, Милли с особенной отчетливостью поняла все это. За девять лет (их страсть, а вместе с ней бесконечные страхи и сознание вины, длилась всего год) она так привыкла к греху, что больше не думала о нем, не думала вовсе. «Ужасно, ужасно, – кричало сердце Милли, пока тело безостановочно расхаживало по комнате, – когда привыкаешь к греху!» Но так и случилось: грех превратился в привычку, в постоянную привычку. Раз в неделю она проводила день с Артуром в Челси, где он снял студию (контора Эрнеста, а соответственно, и сам Эрнест, находились в это время в Сити), чтобы к ужину вернуться домой обновленной и счастливой. Обновленной и счастливой? Обновленной и счастливой, оттого что предала своего мужа? «О, что же мне делать?» – мысленно вскричала Милли, ломая руки, ибо теперь, когда Эрнест умер, как могла она искупить вину, как могла заслужить прощение?

Однако все было именно так: она возвращалась обновленной и счастливой, потому что к тому времени они с Артуром прошли первую, страстную ступень любви, преодолели пору чуткой настороженности и чувства вины, которые отравляют все смертельным страхом разоблачения, и познали счастье. Они успокоились, успокоились и предались греху. Ужасно, теперь Милли это понимала, но так и было.

Должно быть, это и ослепило ее, рассуждала она, помешало понять истинную природу тех дневных встреч с Артуром и ее возвращений с ощущением обновления и радости. «Что в том плохого? – спрашивала она себя порой на второй год и всякий раз заключала: – Ничего». Возможно, оттого она и была такой внимательной к мужу. После дней, проведенных с Артуром, она всегда была особенно нежна и предупредительна с Эрнестом: легко уступала его желаниям, соглашалась, одобряла, извинялась, обещала – и при этом так и лучилась добродушием и радостью, которую ничто не могло омрачить.

«Вот это жена!» – вздыхали братья Ботт.

«С Милли никто не сравнится», – говорила старая миссис Ботт.

Титфорд ее обожал.

Вдобавок шло время, и дневные встречи с Артуром уже казались бесконечной чередой. «Разве это может быть злом?» – спросила она себя после смерти Эрнеста, но прежде, чем его завещание открыло ей глаза; тогда Милли сидела в спальне, погружившись в воспоминания о том, что совершила, и искала утешения. Разве может быть дурным то, что длится так долго? Разве время, если его утекло достаточно много, в конце концов не переиначивает все? Ее тревожные мысли блуждали в поисках подтверждения. Разве даже жаргон одного поколения не становится вежливым языком для другого? Их тайная связь продолжалась из года в год, становилась все более крепкой, вселяя уверенность и безмятежное спокойствие, пока наконец встречи не превратились почти в обыденность, в привычку, доведенную до автоматизма – ведь Артур уже давно стал лишь дорогим, очень близким другом – в действительности, ее единственным другом. За второй и третий годы страсть их заметно утихла, и к началу четвертого любовные утехы превратились в полную нежности рутину, в довольно изощренную, но приятную форму приветствия, после которого любовники преспокойно садились за чай и мирно беседовали на такие темы, как археологические раскопки (ими в основном Артур и интересо-

вался на досуге), а в последнее время они и вовсе перестали принимать любовные ласки за таковые.

Они радовались друг другу при встрече, очень радовались. Когда Милли приезжала, Артур распахивал дверь и говорил: «Вот и ты, дорогая», – и нежно целовал ее, а потом рассказывал о своей простуде. Он часто бывал простужен, поскольку не отличался крепким здоровьем. А когда она уходила, Артур открыто провожал ее до Кингс-роуд, сажал в такси до вокзала Виктория, напоминал, чтобы не промочила ноги, и спрашивал, хватит ли ей мелочи, будто они были давно женаты.

В последние годы Милли показалось бы нелепым, немислимым считать эти тихие свидания греховными.

Нет-нет, в этом не было греха, настойчиво убеждала она себя в дни накануне похорон, пока добрые, ни о чем не подозревавшие Ботты ободряюще поглаживали ее по руке и шептали всевозможные слова утешения. Что ж, по крайней мере Эрнесту достались отголоски этого безыскусного домашнего счастья. Из-за этого счастья Милли смогла и дальше быть ему хорошей женой. Боттам, и Титфорду, и всему свету это показалось бы странным, но она и впрямь была Эрнесту хорошей женой, однако всецело благодаря тому, что в глазах Боттов, Титфорда и всего мира делало ее плохой, недостойной женой. Те тихие встречи с Артуром дарили ей спокойную безмятежность, которую ничто не могло нарушить, и безграничную готовность предупредить малейшие желания Эрнеста. Они, словно лампа, освещали дом на МанDEVИЛЛ-ПАРК-роуд и согревали самое его сердце, как согревает огонь. Разве любовь так уж дурна, если она делает женщину лучше во всех отношениях? Разве ее тайная связь с милым, дорогим другом не обернулась для Эрнеста полнейшей выгодой?

Так думала Милли, найдя поддержку в Артуре, в первые недели их любви, когда, терзаемая чувством вины и страхом, искала себе оправдание, и так же продолжала говорить себе и в дни перед похоронами. Артур еще в самом начале объяснил ей благотворное значение их отношений, указал, как хорошо стало всем трем, которые прежде были так несчастны...

– Но Эрнест не был несчастен, – возразила она тогда.

– В душе, несомненно, был, – стоял на своем Артур. – Должно быть, он чувствовал, что ты лишь исполняешь свой долг, но в этом не было любви. Я думаю, мужчины всегда это чувствуют.

– Но не мужья, – сказала Милли.

– Уверен, что ты ошибаешься, – мягко произнес Артур, который никогда не был женат.

– Что ж, возможно, возможно, – с сомнением согласилась Милли.

Эрнест был таким молчуном, что никто, в сущности, не знал, о чем он думает. Иногда ей казалось, что он вообще ни о чем не думает, разве только о делах, и то вряд ли. С ней, по крайней мере, он говорил лишь о работе или о домашнем хозяйстве, а когда сердился на нее, то все больше молчал, мрачный, как грозовая туча. О, Милли хорошо помнила это угрюмое зловещее молчание. Оно было для нее карой куда более страшной, чем могла бы быть самая яростная гневная вспышка. Вдобавок Эрнест ничего не читал, кроме газет и журналов, и терпеть не мог, когда она читала в его присутствии. Их вечера не отличались один от другого: два кресла, яркий огонь в камине зимой или папоротники летом; он – с газетой в руках, она – с вязаньем на коленях, оба раскинулись в креслах, осоловелые после ужина. Целых пятнадцать лет каждый вечер повторялась эта сцена, если не считать тех дней, когда они выезжали или принимали гостей, и с каждым годом Милли становилась чуть полнее, грузнее, а ее наряды – немного богаче; кроме того, с наступлением очередного дня рождения у нее на руке появлялся новый браслет, немного массивнее прежнего, или грудь ее украшала новая брошь, чуть крупнее старой.

Прутьями ее клетки были довольство и комфорт. «Будет ли достаточно, когда предстану перед Всевышним и он спросит, что я совершила в жизни, – с тревогой спрашивала она себя порой, – если я укажу на Эрнеста и скажу, что заботилась, чтобы его всегда хорошо кормили?»

Нет, она знала, что этого не хватит. Но что ей делать, если жизнь ее пуста, детей, которые наполнили бы ее новым смыслом и подарили новые надежды, нет? После пятнадцати лет брака и нескончаемой череды вечеров, неотличимых один от другого; после дней, занятых приглашениями и гостями, визитами родственников и ответными посещениями; выслушиванием одного и того же снова и снова изо дня в день, одинаковых улыбок и штампованных одобрений Милли начала задыхаться от нестерпимого одиночества. Чудовищное томительное однообразие так угнетало ее, что она готова была бросить все, повергнуть в ужас свой мирок, навлечь на Боттов несчастье и позор, уйти к скандально известной сестре (той было лишь около тридцати пяти, и она еще не успела располнеть подобно ей самой), когда в один из тех бессмысленных, безрадостных дней Милли встретила Артура, и он ее спас.

Спас ее? С помощью адюльтера? Милли содрогнулась при мысли, что было время, когда она думала об адюльтере как о спасении. До каких глубин цинизма она опустилась, коли жила все эти долгие годы в безмятежном блаженстве, с веселой беззаботностью, которая теперь ее изумляла, да так бы и продолжала, если бы ее не уличили! Лишь теперь ей открылась истинная картина; страшный, осуждающий взгляд мертвого Эрнеста, словно луч, высветил правду.

То, что она натворила, ужасно. Она лгала и улыбалась, изменяя тому, кто кормил ее и одевал, тому, кто ей доверял (да-да, доверял, пока два года назад не раскрыл ее обмана, что было очень просто: они с Артуром стали такими беспечными). Но и тогда Эрнест продолжал ее содержать и ни в чем не упрекал. Почему, почему он не положил этому конец, не перестал одевать ее и кормить, не стер с ее лица эту кошмарную лживую улыбку, не прогнал ее прочь, не порвал с ней? Наверное, он думал, что тоже мог лгать и обманывать: мог быть таким же подлым, как она, и, обнаружив измену, не сказать ни слова, ничем не показать, что правда ему известна, – держаться как обычно, принимать нежную заботу Милли, позволять ей преданно служить ему, потакать всем его капризам, стараться изо всех сил, чтобы загладить вину, а в душе злобно смеяться, наблюдать и молчать, лелеять месть, предвкушая расплату, которая наступит, как только огласят завещание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.